

— Вячеслав Алексеевич, в одной из своих публицистических статей Толстой заметил, что смена веков означает конец одной веры, одного мировоззрения, одного способа общения между людьми и начало другой веры, другого мировоззрения и другого способа общения. Наше столетие на исходе. Вы ощущаете какие-то толчки грядущих перемен?

— Вот уж сомневаюсь, что какие-то качественные сдвиги и этапы духовной эволюции можно подогнать под смену веков. Когда, скажем, прошлое столетие серьезно распылялось с разумным и изящным восемнадцатым? По-моему, это падает лишь на шестидесятые годы, после того как в России начались первые теракты против Дома Романовых. Нет, я бы не стал разделять эпохи сообразно астрономическому времени. И в нашу пору я не чувствую никакого качественного сдвига, во всяком случае, пока не накопится ничего, грядущего чем-либо важным. К худу ли к добру ли, но продолжается плавное течение событий.

Вот пережили мы четвертую русскую революцию, на сей раз сверху. Ну и? От романтизма нация не избавилась и не скоро еще избавится. Большевиком до сих пор в крови у наиболее деятельной части населения, а коммунизм — у наиболее бездеятельной. Если что-то из того, о чем вы говорите, произойдет, то много позже. Занятно было бы порассуждать, в какую сторону нынешняя ситуация грозит развиваться, но мне не моя епархия. Я не предсказатель. И вообще-то живу редкими счастливыми мыслями, а их так мало, что я нещадно их эксплуатирую и выжимаю из них все, что могу для моих сочинений. Поэтому обычно мне изустно особенно нечего сказать, тем более на столь глобальную тему, как оценка уходящего века.

— А если все-таки сделать попытку?

— Мне кажется, что наш век — один из самых жестоких и отвратительных в мировой истории. Может быть, потому, что человечество впервые решило перейти от движения ощупью, как это было всегда, к движению осмысленному, имеющему определенный маршрут. Предчувствующему какую-то цель, но все равно не видящему ее, ибо это невозможно. Эксперимент не удался, и, наверное, оттого наш век был столь гадким. Он доказал, что лучше двигаться, не выбирая дороги. Результаты такого движения почему-то всегда были благополучнее.

— Вы фаталист?

— Признаться, у меня довольно широкий спектр умонастроений. В понедельник могу быть фаталистом, во вторник — марксистом, в четверг — неокантианцем и т.д. Сегодня суббота? Что ж, выходит, снова фаталист.

— И как же вы сегодня себя ощущаете?

— Хорошо. Прежде всего потому, что всегда ощущаю себя хорошо.

— Неужели происходящее вокруг не нервнрует?

— Впрямую нет. Для меня главное, что могу работать. Конечно, как все нормальные люди, переживаю, что наше государство по-прежнему бездарно, что по-прежнему в нем засилье дилетантов, пенсионеров и дураков, что по этой причине страдают люди, никоим образом не причастные к политическим играм. Мне тяжело от мысли, что мир принадлежит дуракам, но она же меня успокаивает и помогает жить. Мир еще долго, а может быть всегда, будет им принадлежать. Они будут вести народы, включая, к сожалению, и самую просвещенную их часть, по пути, который они видят своими невидящими глазами. Я смотрю на все это как-то снисходительно, как взрослый смотрит иногда на игры детей. И не потому, что существую в башне из слоновой кости или считаю, что всех умнее, просто знаю, что здесь ничего не поделаешь.

Хотя кое-что и обнадеживает.

Мы наблюдаем, что в традиционно культурных странах по крайней мере с годов пятидесятих власть потихоньку переходит в руки цивилизованного меньшинства, и там управляют светлые головы. Россия, как обычно, отстает шагов на пять. Вот и парламентаризм пришел с опозданием на столетие. Причем не уверен, что это благо. В этом отношении я вовсе не демократ, то есть если мы будем оперировать изначальным смыслом этого понятия, то я против власти народа. Думаю, что, кроме вреда, она ничего принести не может. Во всяком случае, в России, ибо те формы парламентаризма, которые существуют у нас, немые-

телевизору, и рождается чувство этакое злое веселье. И интересно, что нет в нем пессимистического начала.

— Чем хуже, тем лучше?

— Вряд ли можно ставить вопрос так, ибо движение России было и пока есть от очень плохо к просто плохо. Или от просто плохо к очень плохо.

— Вам не хотелось бы помещать засилью дураков?

— Думаю, это требует огромной работы в течение очень продолжительного времени. Занятие, в сущности, мало перспективное. Чем я могу помещать? Тем, что сочиняю книги, которые читают, дай Бог, тысяч пять человек? А те, кому, допустим, мои книги помогли бы в человеческом становле-

нии, не жалею. Это первое, а второе — не верю я в дидактические возможности литературы. Лучшие образцы ее очень далеки от дидактики, они существуют как "вещи в себе" и воплощают чистое искусство, то есть то, против чего испокон веку боролись большевики.

Сегодня мы видим, что и в нашем столетии, несмотря ни на что, "искусство для искусства" оказалось несравненно более влиятельным, нежели ориентированное на превходящие ценности. Правда, следует заметить, что и соцреализм сумел дать несколько высоких образцов. Кстати, я не большой его противник и никоим образом не считаю его чем-то отрица-

ющим. Чингиза Айтматова, не читают практически никого. Разве что на юге Германии известен Г. Владимов, на севере — Л. Копелев, но юг не знает Копелева, а север — Владимова. И вообще складывается впечатление, что в их представлении в русской литературе сразу после Льва Толстого следуют эти оба.

— Чем же так притягателен для Запада Айтматов? Тем более что, на мой взгляд, последние его вещи довольно слабы.

— Во-первых, он очень культурный писатель. Во-вторых, на мой взгляд, это своеобразное повторение феномена Горького. Интеллигенция носила его на руках, будучи изумленной: из низов, а как неплохо пишет! В успехе Айтматова

вообще нет критики. Это любопытно. К Шукшину я отношусь очень нежно, ведь в ту эпоху его литература была самой живой, и очень его жалею — убил он свою жизнь. Что касается его традиций, то разница между нами колоссальная, вернее принципиальная. Он — блестящий рассказчик, я — сказочник. Он отлично знал жизнь тех, о ком писал, я ее знаю очень плохо, у меня все выдуманно.

— Откуда же такая точность деталей?

— А почему вы уверены, что они точны? Это обыкновенная хитрость. Допустим, я могу узнать, как в Коста-Рике называется улица, ведущая от аэропорта к дворцу губернатора, и сколько стоит пачка сигарет. Вот вам и детали, заставляющие читателя подумать: ну, Пьецух, по всему миру таскается, даже там побывал...

Понимаете, живет во мне жадность бесконечная, ничто не проходит мимо, ни одного гвоздика на этой земле не пропускаю. Для меня это хлеб насущный. Какое счастье испытываешь, когда чувствуешь соль сиомиунного бытия и отбираешь детали, сообразуясь с ее магнитной силой. Тогда все играет и создается впечатление жизненности, правдоподобия, хотя все — чистая сказка.

— Над чем вы сейчас работаете?

— Пишу сочинение, называющееся "Государственное дитя". Суть этой вещи — разоблачение политики как самого вредного занятия на Земле, злобной, человеконенавистнической категории.

— Как же люди могут обходиться без нее?

— Попытаюсь с помощью пера и бумаги решить этот вопрос. У меня там много чего намешано — и современный политик, и самозванцы времен Смутного времени. Словом, некое неосознанное повторение событий начала семнадцатого века. Все-таки мое образование сыграло свою роль, и я все больше тяготею к истории. Любопытно представить себе, как-бы изменился ее ход, если бы события стали развиваться иначе.

— Но в истории нет сослательного наклона.

— А у Пьецуха есть. Взял да и сочинил. Сам себе хозяин — хочу рашу, хочу скашивать.

— Вы пишете для себя?

— Исключительно. В этом я не разумный, а безумный эгоист. Читателя не представляю.

— Вам он совсем не нужен?

— Мне нравится, когда мои книги читают, но если бы их не читали, а просто издавали, то я тоже получал бы удовольствие. Вот недавно тираж моей последней книги "Московские шиклы", не разошедшейся на 40 процентов, на складе преспокойно съели мыши. Весьма радостное обстоятельство — оказывается, моя литература вполне калорийна.

— Если к власти придут большевики, как вы к этому относитесь?

— Очень рассержусь. И если бы ощущал в себе хоть один процент возможности жить вне России, то сделал бы некий жест пренебрежения национальному менталитету и уехал. Но я-то знаю, что больше нигде жить не смогу, стало быть, буду делить эту судьбу до конца. Вот только арестовать себя не позволю.

— Вы склонны усматривать в возможной победе коммунистов вину народа?

— А чью же еще? Кто совершил октябрьский переворот, кто отстоял Россию для большевиков, кто сейчас спокойно всем нам и себе на голову может скоро их посадить? Он ведь озорник, наш народ, он не столько большевиков любит, сколько никого не любит. Самое лучшее для него — перемены. Пусть хуже, но иначе. А это иначе он опять терпеть не сможет. Тогда снова все иначе...

Беседу вел Александр НИКОЛАЕВ.

Вячеслав Пьецух: Я ПРОТИВ ВЛАСТИ НАРОДА

Писатель не уверен, что парламентаризм в России — благо

лимы и опасны. Предугадать же, что русский человек может сделать с этой системой, так же невозможно, как и то, что амазонка станет делать с микроскопом. Явно одно — по назначению не употребит.

— Итак, мир — "корабль дураков", а русские на нем всех дурае?

— Никоим образом. Я вовсе не свысока и не с презрением отношусь к нации, произведшей меня на свет Божий. Я знаю только, что есть русский народ и... русский народ. Ничего общего между со-

тельным. Соцреализм таков, каков он есть, и другим быть не мог. Иметь что-либо против него все равно, что иметь что-либо против прыщей у юноши или коклюша у детей. Явление столь же физиологическое.

Бывает литература детская, юношеская, научно-техническая, а бывает литература соцреализма, особая область культурного производства, преследующая определенные цели. И как невозможна в детской литературе порнография, так невозможна в рамках культуры соцреализма правда. Она ей противопоказана. Это с одной стороны, с другой же — это искусство выполняло своего рода полезную миссию.

— За свою жизнь вы перепробовали немало профессий, в том числе даже золотопромышленника. Это ваши писательские "университеты"?

— Никогда не изучал жизнь в горьковском смысле, не искал приключений. Прожил очень размеренную неинтересную жизнь. Не голодал, не холодал, не бежал, не стрелял, не преследовался органами правосудия. После института довольно долго работал в школе учителем истории, потом ушел в журналистику. С середины семидесятых жил литературным трудом. Да и золотоискательство случилось как-то прозаически. Нас, участников очередного совещания молодых писателей, как бы поощрили возможностью поехать в Сибирь на довольно долгий срок. Вот я и отправился на золотые прииски и поработал, получив кучу денег. Долгое время потом беды не знал.

— Ныне материальное положение не тревожит?

— Абсолютно. У меня совершенно роскошный спонсор в лице жены. Разумеется, я зарабатываю, но не так много. Правда, в последнее время дела в литературном мире начинают выправляться. Плакаться нечего — те, кто может писать, могут получать неплохие деньги. Поэтому если бы мы жили только на мои гонорары, то на картошку все равно бы хватало. Но не более. К счастью, картошка у нас своя: выращиваем в деревне.

— Испытываете тягу к земле?

— По отцовской линии у меня все земледельцы, так что гены играют. Однажды косил траву, вдруг подходит единственная местная жительница в нашей деревне Устье и говорит: "Лексеич, как же ты по-крестьянски косишь". Мне было невероятно приятно. Стоило денюшка два попробовать, как голос предков зазвучал!

— Критики связывают ваше творчество с шукшинской традицией.

— Я-то думал, что обо мне

бой они не имеют. Для меня русский городской и русский деревенский — две разные нации, русский со среднетехническим образованием и интеллигент — тоже. Русские — народ, в котором сосуществует множество разных наций. Поэтому у нас вечные недоразумения, неурядицы, нелепости, поэтому ни один народ не знал таких тяжелых потрясений. Мы еще не сложились как нечто цельное.

— Где ж кроется наша беда?

— Об этом роман надо писать, а я работаю в малых жанрах.

— Может быть, все-таки необходима пресловутая национальная идея?

— Цивилизованный мир давно усвоил, что никаких идей не надо. Подобные поиски кончились у них во времена энциклопедистов, когда они поняли, что надо заниматься деньгами, семьей и не грубить полицейским. Вот и вся великая премудрость. Но именно потому среди них жить невозможно, а у нас пусть гадко, но весело. Смотришь из этих дураков го-

нии, их не читают, они вообще никаких книг не читают. Образуется некий заколдованный круг.

— Вы не приветствуете участие художников в политике, но те, кто на это идет, резонно могут ответить: если не я, то кто?

— Да не работает им, вот где собака зарыта! Не могут по той или иной причине своим прямым делом заниматься. Знаете, так сложилась моя жизнь, что я несколько раз изобретал велосипед, о чем сейчас немало сожалел. Возможно, произошло это потому, что почти одновременно начал серьезно читать и писать, лет в двадцать шесть, что, конечно, поздновато. Тогда, поглощая чужое и нарабатывая свое, я изобрел велосипед под названием "теория разумного эгоизма". Я понял, что счастье наступит только в том случае, если каждый человек станет заниматься только собой и ничем больше. Тогда мы получим 150 миллионов равных, просвещенных, способных, трудолюбивых личностей, и появится надежда выбраться наконец от-

